



Андрей
ЗОРКИЙ
**Фаина
Великая**

Она любила принимать на кухне в синем громадном плюшевом халате, небрежно надетом наизнанку. На руке ее сверкал перстень с бриллиантом невероятной крупности. На самом же деле это была обыкновенная пуговица с тоги римского патриция.

... Так вот, мы сидим, и я украдкой записываю на краешках ее любимой «Комсомолки» — потому что Фаина не переносит интервью, а осаждающих ее критиков называет «амазонками в климаксе».

За этим столом она рассказывала мне о том, как подала Маяковскому стакан молока, а он весь вечер перебрасывался через стол записочками с Вероникой Полонской; как Осип Мандельштам на ее глазах слопал в кондитерской на Невском тарелку пирожных; как они с Анной Ахматовой бежали вприпрыжку, спасаясь от мальчишек, преследующих Фаину воплями: «Муля, не нервуй меня!», а она отмахивалась: «Дети, идите в жопу!»; как в двадцатом недорослящий дворецкий Льва Николаевича водил ее по яснополянскому дому и величественно показал в ванной обмылок, которым пользо-

вался сам граф, и Раневская попросила робко: «Можно мне немножечко помылиться?»

Кромешной ночью Сергей Эйзенштейн разбудил телефонным звонком Раневскую: «Фаина! Фаина, я только что из Кремля. Ты знаешь, что о тебе сказал товарищ Сталин?!» Атам, в Кремле, просмотрев в тысячный раз Марику Рокк в «Девушке моей мечты» (ее обожал и Гитлер), пыхая в восторженные и преданные личики кинематографистов, Сосо Джугашвили гениально заметил, что ни за какими усиками и гримерскими нашлапками хорошему актеру товарищу Жарову не удастся спрятаться и скрыть в своих ролях, что он-то и есть товарищ Жаров. Зато товарищ Раневская, практически ничего не наклеивая, выглядит всегда разная. Пых-ных. Вот так, думайте. Разбирайтесь.

Потрясенная и «всегда разная» Раневская спустилась во двор, разбудила дворника-татарина и, разжившись бутылкой водки, отметила с ним «звездный час» своей жизни.

А наутро вся творческая столица, снисходительно поглядывая на хоро-

ИЗ СЕКРЕТНЫХ АРХИВОВ «ЧК» *Воск. клуб - 1995 -*

шего, но все-таки «однообразного актера товарища Жарова», восторженно всматривалась в лицо Раневской — разнообразной до неузнаваемости...

Принимая, Фаина Георгиевна любила меня угощать. Кормила «от Елисеева», пока директора не кокнули и список вкушающих не распался. Иногда выставляла мне килограммовую синюю банку черной икры с веселой рыбкой на этикетке и говорила: «Пихайте в пузо». И смотрела на меня грустно, потому что ее терзал диабет, и ела она ксилитовые конфеты.

— Не обращайтесь внимания, это «итальянский дворик», — сказала как-то Раневская, кивнув на гирлянду огромных тусов, развешенных под потолком кухни.

Сегодня на кухне нет «итальянского дворика», сегодня банка рыбных консервов таинственно превратилась в мясной «Завтрак туриста».

— Ничего не понимаю, — вздыхает Раневская. — Была чудесная рыба, на банке было написано «РЫБА», я сама читала. Почему она стала вдруг колбасой? Что это за идиотский завтрак туриста? При чем здесь туристы? Ничего не понимаю. Я пошла сходить с ума. — И удаляется, вздыхая, в комнаты. Но рыбные консервы скоро находятся в холодильнике. — Вот видите, — торжествует Раневская, — что у меня есть! Налим, а никакой не завтрак для туриста. Чудесная аристократическая рыба в томатном соусе. Сейчас я вам пихну ее в живот.

После чая (с коньяком, налимом, «Завтраком туриста» и гамзой) Раневская рассказывает, как она отдыхала в санатории в Кемери.

Это санаторий ВЦСПС, бывшая усадьба какого-то графа. Триста отдыхающих, 150 транзисторов, и каждый работает на своей волне. Очаровательно. За столом соседка, номенклатурная, говорит другой: «Манька, ну и ноги у тебя воняют, хоть святых выноси» — и т.п. В номере моем от прекрасного персидского ковра отрезан кусок. Спрашиваю, в чем дело. Объясняют: кто-то из больных выстриг, чтоб башмаки чистить.

(«Я прожила жизнь не на своей улице и не в своей эпохе. Мне нужен XIX век. Срочно!»)

А однажды Фаина приготовила мне курицу по-французски — «ля пуль», погнала няню с красными щеками до колен (от обжорства и воровства) на Палашевский рынок, но все остальное сделала сама. Курицу вывернула из камзольчика, очистила от всех косточек, дважды перемолола, добавила специй, орехов, зашила обратно в виде такой продолговатой булки и поставила в духовку. Ну, курица, конечно, вся прослезилась с пылу, приняв окраску балтийского янтаря, а внутри создалось такое золотисто-шафранное свечение,

что, когда, по готовности, Фаина ударила по ней серебряной лопаткой, развалив на элегантные ломти, кухня наполнилась ароматом версальской гостиной, накрытой на триста персон. Тогда-то мы и раздали с Великой последнюю поллитру — Фаина начала борьбу с моим пьянством.

«Как только по телевидению про алкоголизм говорят, я вспоминаю вас. Станьте Андреем Зорким до конца. Не пейте! Я боюсь того, что случилось с очень многими спившимися и ставшими просто неинтересными людьми. Не пейте! Умоляю на коленях!.. Сотнягу могу отвалить».

Мы прекратили пить на ее жилплощади. Иногда я помогал редактировать Фаиныны воспоминания, для чего надо было лишь возвратиться от неуклюже написанной ею фразы (большими корявыми буквами) к ее гениальному устному выражению. Андронников всерьез сравнил словесность Раневской с гоголевской. Меня же Фаина хвалила: «Вы дивный редактор. Мои неглубокие мысли вы превращаете в пучину».

Отъезд Раневской из дома к театральной рампе обставлялся весьма торжественно. В ту эпоху безмерседа подавалась шикарная черная «Волга», Раневская одевалась в долгополую черную каракудевую шубу. (Из ранних ее сочинений о гастролях: «Собираясь в тундру, продала доху и купила пундру и фальшивый х...») Забирала с собой бесценного своего Мальчика, подобранного ею с перебитыми ногами на Никитском бульваре. Когда же Мальчик оставался дома, то, по уверениям Фаины, он орал с подоконника: «Вернись, я все прошу!»

Путь до театра, если пройти две подворотни, составлял пять минут, но «Волга» фешенебельно мчала нас по знакомым и вовсе незнакомым улицам, пока мы не заруливали наконец к «черному ходу» театра.

«Это не театр, а дачный сортир, — непреклонно заявляла Раневская. — Так тошно кончатся свою жизнь в сортире. Я туда хожу, как в молодости ходила на аборт, а в старости рвать зубы. Я родилась недоувавленная и ухожу из жизни недоувавленная. Я недо... И в театре тоже. Кладбище несмысленных ролей. Все мои лучшие роли сыграли мужчины».

Для меня всегда была загадка, как великие актеры могли играть с актером, у которого нечего взять, нечем заразиться, хотя бы триппером. Как внушить бездари: никто к вам не придет, потому что у вас нечего взять. А вообще я не признаю слова «играть». Пусть дети играют. Пусть музыканты играют. Актер должен жить».

Полностью статья будет опубликована в ближайшем номере журнала «Обозреватель»
Интересный журнал, однако.